

Владимир Гиляровский

Трущобные люди



Часть сборника
Трущобные люди (сборник)



Владимир Гиляровский

Трущобные люди

«Public Domain»

1887

Гиляровский В. А.

Трущобные люди / В. А. Гиляровский — «Public Domain», 1887

Издание включает знаменитые очерки «Трущобные люди» выдающегося русского журналиста и писателя – «золотого пера» русской журналистики, Владимира Алексеевича Гиляровского. Первый тираж этой книги, заставившей содрогнуться русское общество, был уничтожен цензурой в 1887 году. В «Трущобных людях» Гиляровский показывает, как попадают на самое дно жизни люди самых разных сословий, как их убивает нищета и безысходность. Если бы российская власть восприняла эту блистательную, жестокую и исключительно правдивую книгу, как предупреждение о тяжелом состоянии русского общества и сделала бы правильные выводы, может и не было бы страшных потрясений, которые пришлось пережить стране.

Содержание

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА	5
БЕЗ ВОЗВРАТА	9
ОБРЕЧЕННЫЕ	14
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Владимир Гиляровский

Трущобные люди

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

– Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! – стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая култыпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на закорузные ноги нищего.

– Эх, Лисичка, и холодно-то нам с тобой и голодно! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз «к дяде»¹ угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пущали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем и сыты будем... В лагеря сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собак любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... Чудаком звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» – «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет, и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогромыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней... Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из своего логова в сад, посплюнул пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие – умылся – и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

– Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю² и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съезжившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестящим окнам трактира...

* * *

– Сюда, ребята, закидывай снег да захватывай подвал, там, наверное, есть! – командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена

¹ В тюрьму.

² Посбираю милостыню.

в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки – словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

– Это откуда такая красавица?.. Совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

– Бродячая, в саду взяли...

– Славна собачка! Не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иди сюды!

Лиска, услышав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завильала хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена, – она стала общей любимицей...

* * *

Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пушай, мол, дура, поест с холодухи-то, набегается ужо!), а Лиски все не было... Только вечером услышал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

– В какой приют, ваше степенство? – вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга.

– Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, – собакам пансион устроили.

– Вроде как богадельня собачья! – вставил другой, – и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе, – ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бы што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи, головой покачивает, – «спя-тил, мол, с горя!». Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидел он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

– Братцы, не вы ли недавнись мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая культяпая...

– Там вот пымали в подвале под старым трактиром... Как лисица, такая...

– Это она! Самая она и есть!

– Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины невпроед дает...

– А где ваша бог...

Но бродяга не договорил, – вдали показался городской. («Фараон»³ триклятуший, и побалакать не даст, – того и гляди «под шары»⁴ угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губернию», вспомнил, как ел персики и инжир⁵ в Туречине, когда «во вторительную службу» воевать с туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка – рупь цена – да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!) Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному, – ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он и этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с острожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить»⁶.

А Сибири ему не хотелось!..

* * *

Опустилась над Москвой ночь – выюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять фараоны помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь выюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать...

Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке... Из одного сапога вдруг лезет фараон и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что:

«Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания, и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве, когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа», могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

– Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!..

Хуже собаки!..

³ Городовой.

⁴ В часть.

⁵ Винные ягоды.

⁶ «За бугры жигана водить» – в Сибирь.

* * *

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дожидается своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте... Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет:

– Ишь ты, житье-то, лучше человеческого!

Лучше человеческого!

БЕЗ ВОЗВРАТА

С кладбищенской колокольни тихие, торжественные звуки часового колокола пронесли по спавшей окрестности.

Двенадцать.

Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы, на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно высохшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полутора от погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще – христианское, обнесенное полуразрушившимся земляным валом, местами сровнявшимся с землею. Все это знакомые места. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим.

Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах, под командой фельдфебеля, выкреста из евреев, и дядьки, вятского мужика, заставлявшего своего «племянша» чистить сапоги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой: «на две – чаю, на две – сахару и на копейку – кипятку».

Тяжела была ему первое время солдатская жизнь, невыносимо казалось это день-деньское ученье, грязные работы и прислуживанье дядьке.

Только ночью, с усталыми, изломанными членами, он забывался сладкой грезой. Но в пять часов утра голос дневального «шоштая рота, вставай!» да звук барабана или рожка, наявнивавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни.

Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на ученье члены.

Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна на ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые уже, набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над горами опилок. Некоторые из «старых» любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. А спавший рядом с Вороновым на нарах «штрахованный» солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у Пономарева никогда не было.

– Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет! – заметил ему раз взводный Терентьев.

– Где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

– Лодырь ты, дармоед, вот что! У справного солдата всегда все есть, хоть Егорова взять для примеру!

Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

– Егоров от нас же наживается, по пятаку с рубля проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть да на две копейки банных не раскутишься...

– Пшел, становись на молитву! – раздалась команда дежурного по роте и прекратила спор...

Воронов считался в роте «справным» и «занятым» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжа-

лись у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятым» называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, «емнастике» и «словесности», обыкновенно плохо дающейся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии.

– Садись на словесность! – бывало, командует взводный офицер из сдаточных, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Петрович Копьев.

И садится рота: кто на окно, кто на нары, кто на скамейку.

– Егоров, что есть солдат? – сидя на столе, задает вопрос Копьев.

Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает:

– Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового...

– Врешь! Дневальным на два наряда... Что есть солдат, Пономарев?

– Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...

– Врешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носят... Ворронов, что есть солдат?

– Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнослужащий от генерала до последнего рядового.

– Молодец Воронов!

– Рад стараться, ваше благородие!

Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и другие, и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который на рожке играл сигналы, и Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае горнист отсылался.

– Играй наступление, раз, два, три! – хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором:

– Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти, та-ти, та-ти-та, та, та, та.

– Верно! Пой словами.

И взвод пел: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов».

Если взвод пел верно, то Копьев, весь сияющий, острил:

– У нас, ребята, при Николае Павловиче этот сигнал так пели: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» А то еще так: «Топчи хохла, топчи хохла, топчи, топчи, топчи хохла, топ, топ, топ!»

Взвод хохотал, и Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

– А ну-ка, ребята, играй четвертой роте!

– Та-та-ти-а-тат-та-да-то!

– Словами!

– «Вот зовут четвертый взвод!»

– А у нас так пели: «Наста-ссия-попадья!», а то: «Отрубили кошке хвост!»

И Копьев рад, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Зато если ошибались в сигналах – беда. Нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначалась не в очередь на работу или «удила рыбу». Так называлось двухчасовое стоянье «на прицелке» с мешком песку на штыке. Воронов ни разу не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое ученье. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте, а в фехтовании на штыках побивал иногда «в вольном бою» самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела.

– Помни, ребята, – объяснял Ермилов ученикам-солдатам, – ежели, к примеру, фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви... Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватал... Вот так: р-

раз – полный выпад и р-раз – назад. Потом р-раз – д-ва, р-раз – д-ва, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз – два!

И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля и, энергично притопывая ногой, устрашал его к крайнему удовольствию Ермилова, любившего его «за хватку».

– Что тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик? – кричал, бывало, Ермилов на скорчившегося с непривычки на боевой стойке солдатики. – А? Что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете, развалишься, а ты как гусь на проволоке...

Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог, и даром всем желающим писал письма в деревню.

– У нас в роте и такой-то писатель, такой-то писатель объявился из молодых, что страсть, – говорили солдаты шестой роты другим, – такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни...

Прослужил Воронов девять месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначали в первый раз, к пороховому погребу...

Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки...

Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России.

Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно ни зги.

Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился.

«Отец мой и мать здесь лежат...» – подумалось ему...

«А тут, налево, подле еврейского кладбища, жида-знахаря хоронили... Похоронили, а он все по ночам ходил, так осиновый кол ему в спину вбили...»

Вспомнились Воронову предания, слышанные в детстве...

«Тут вот, у нашего кладбища, солдатик расстрелянным закопан... А здесь...»

Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а затем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколота окровавленным осиновым колом... Все выше и выше росла фигура и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему... Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет бог», а у него выходит: солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит...

А фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит и землистые руки, и, как у кошки, блестящие, где-то вверху, зеленые глаза, и большой, крючковатый нос жида...

А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны.

Целый рой привидений встает перед часовым: и жид-знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые, длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдатики в белом саване лезет из-под земли, и какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева.

Он чувствует, как стучат зубы и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье и еще крепче прижался к будке.

А фигуры, все одна страшней другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо, тихо стонало, будто под землей.

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю...

Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а привидения гнались за ним со стонами, свистом, гиканьем. Ему

ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Врешь – не уйдешь!»

Он бежал, а над головой его мелькала мохнатая, землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, головой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его...

Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза.

Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое, сквозило сквозь ветки.

Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю и на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную суму.

Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах.

– Да ведь я с часов бежал! – невольно сорвалось у него с языка.

«Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлечения ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказа сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком бы то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», – промелькнула в уме его фраза, заученная со слов Копьева.

Рас-стре-лянию!

Он закрыл глаза и увидел памятную ему с детства картину: здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял привязанный к столбу в белом саване. Перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутым на затылок кепи офицер махнул белым платком, и двенадцать ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами и в одну линию, параллельно земле, вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатику в саване, а ноги их примерзли к земле.

Рыжий офицер опять махнул платком. Из стволов вырвались одновременно двенадцать огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную массу, и белый саван на привязанном солдатику дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бесильно повисла на груди.

Воронов с такими же, как он, ребяташками смотрел из огорода на казнь. Это было лет десять назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдатики.

– Вот так же и меня! – Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать, и каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули...

Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги.

– А может быть, еще не хватились, может, и смена не приходила, – вскрикнул Воронов и выбежал на опушку кладбища, на вал и, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево, весь утопающий в зелени садов, город с сияющими на солнце крестами церквей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью... направо мелкий лесок, левой его дерновая, зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет, белыми и черными угольниками, будка, подле порохового погреба.

Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой.

У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек.

Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатики, перекрестился и ползком, между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу...

Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба.
Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города.
«Расстрелянию», – мелькнуло в его уме.
Он махнул рукой и скрылся в дебрях леса.

ОБРЕЧЕННЫЕ

I

На самом краю города Верхневолжска, на высоком, обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдейному купцу миллионеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собою крепость. Мрачно, неприветливо выглядывает он снаружи... острожным холодом веет от него...

У высоких решетчатых железных ворот завода бесменно, день и ночь, сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, «зачем» и «к кому» он идет?

В один из холодных январских воскресных вечеров холодного 187... года к воротам завода подходил или, вернее сказать, подбегал молодой человек с интеллигентным лицом, одетый в рубище, в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, и на стук вышел сторож, уса́тый солдат, с добродушно-строгим выражением чисто русского, курносого лица.

– Что тебе?

– Насчет места... – под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший.

– Замерз, босая команда!.. Ну ступай в сторожку, погрейся уж! – не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом.

Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня, от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолоки.

– Садись к печке, погрейся, – пригласил его солдат, что и было немедленно исполнено. – Ну, пропился, что ли, коли на копейкинские хлеба пришел? Впервой сюда?

– Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай, спасибо еще добрые люди послали, а то хоть и топиться так в пору!

– А сам из каких? Приказчик прогорелый или из трактирщиков?

– Нет, юнкером на Кавказе служил, офицерского чина не получил, вышел в отставку, приехал сюда место искать и прожился...

Сторож переменял тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаленье и вместе с тем насмешку.

– Что ж делать, барин! Не вы первый, не вы последний! Трудно только вам будет здесь без привычки, народ-от мрет больно! Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу увезли, два года вытрубил у нас, надо полагать, не встанет, ослаб!

– Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик?

– Эх, барин! Да что подпоручик, капитан, да еще какой, работал у нас! Годов тому назад пяток, будем говорить, капитан был у нас, командир мой, на Кавказе вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались...

– Капитан?

– Как есть; сижу я это словно как теперь в сторожке... перед Рождеством было дело, холодно... Вдруг, слышу, в ворота кто-то стучится – выхожу. Стоит это он у ворот, дрожит. Сапожонки ледящие, шапчонка на голове робячья, махонькая, кафтанишка – пониток рваный, тело сквозь видать, – не узнал я его сразу, гляжу, знакомое лицо, так и хочется сказать: Левонтий Яковлевич, здоровья желаю! Да уж изменился больно ён, прежде-то, при мундире да при

орденах, красавец лихой был, а тут осунулся, почернел, опять и одежда... иначе я-таки признал его, по рубцу больше: на левой щеке рубец был, в Дагестане ему в набеге шашкой вдарили... Ну, признал я его и говорю: «Вашскобродие, вы ли, Левонтий Яковлевич?» А я с ним в охотниках под горца хаживал, так все его по имени звали... Любили больно уж... Взглянул ён на меня да как заплачет. «Здравствуй, – гырт, – Размоляев!..» Заплакал и я тут... Повел его в сторожку, чайком, водочкой угостил...

– И теперь здесь? – спросил молодой человек.

– Нет, барин, зиму-то он выжил кой-как, а весной приказчика поколотил, ну его и прогнали... Непокорливый он был! Да и то сказать опять, человек он заслуженный, а тут мужика-приказчика слушайся! Да и что! Господам офицерам на воле жить плохо, особливо у хозяев ежели служить: хозяин покорливости от служащего перво-наперво требует, а они сами норовят по привычке командовать! Вот нашему брату не в пример вольготней: в сторожа ли, в дворники – везде ходит, потому нам что прикажут, без рассуждений исполняем... Одначе и из нашего брата ныне путных мало: как отслужил службу, так и шабаш, домой землю орать не заманишь, все в город на вольные хлеба норовит! Вон у нас на заводе все, почитай, солдаты...

В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат.

– Здорово, Капказский, садись! – приветствовал его сторож.

– Здорово! – молвил вошедший и опустился на лавку. – Новенький? – спросил он.

– Да, наш капказец, юнкар! – ответил Размоляев и вышел из сторожки вместе с барин. – Вот, пожалуйста в контору, там есть приказчик, так к нему обратитесь, – указал он на белое одноэтажное здание с вывеской «контора».

В конторе за большим покрытым черным сукном столом сидел высокий рыжий мужчина.

– Что тебе?

– Насчет места...

– В кубовщики, четыре рубля в месяц!.. Ванька, сведи его в третий номер, – крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притоки и крутил в руках обрывок веревки. – Сегодня гуляй, а завтра в четыре утра на работу! – крикнул вслед уходившим приказчик.

II

Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившийся на конце двора.

Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гуденье сотни голосов несло на двор сквозь разбитые стекла.

Луговский отворил дверь; удушливо-сморщенный пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья, присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его, так что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему:

– Эй, черт, затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так, небось, хлев затворял!

Луговский вошел. Перед ним была большая казарма; по стенам стояли столы, длинные, грязные, обсаженные кругом народом. В углу, налево, печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каши. На котле сидел кашевар с черпаком в руках и разливал в чашки какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо, под лестницей, гуськом, один за другим, одетые в рваных рубахах и опорках на босу ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который, черпая стаканчиком из большой деревянной чашки водку, подносил им. Каждый выпивал, кричал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского.

– Новенький, что ли?

– Да, сейчас нанялся!

– Ну, иди, пей водку да садись ужинать.

Луговский выпил и сел к крайней чашке, около которой уже сидело десять человек. Один, здоровенный молодой малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал во щи из серой капусты. Начали есть. Луговский, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи.

– Ишь ты, слава богу, с воли-то пришел, как лихо ест! В охотку еще! – пробормотал седой старик с землистым цветом лица и мутными глазами, глядя на Луговского.

– А тебе и завидно, ворона старая! – заметил старику крошивший мясо парень.

– Не завидно, а все-таки... – ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины.

– Раз! – раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старику.

– Ишь, ворона, все норовит как бы говядинки, а другим завидует!

– Чего дерешься, Пашка? – огрызнулся на парня старик.

– А то, что прежде отца в петлю не суйся, жди термину: скомандую «таскай со всем», так и лезь за говядиной, а то ишь ты! Ну-ка, Сенька, подлей еще! – сказал Пашка, подавая грязному кашевару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлебнули еще несколько раз, Пашка постучал ложкой в край чашки. Это было сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным, из экономии, маслом. Ее, кроме Луговского и Вороны, никто не ел.

– Что это никто каши не ест? Каша хорошая, – спросил Луговский сидевшего с ним рядом Пашку.

– погоди, брат, недельку поживешь, на ум каша-то не пойдет, ничего не захочешь! Я, брат, в охотку-то сперва-наперво похлеще твоего ел, а теперь и глядеть-то на еду противно, вот что!

Пока Луговский ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму. За ними, через несколько времени, пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната сажен в пять длиной и сажени четыре шириною. По трем стенам в два ряда, один над другим, шли двухэтажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках, с поленом в головах, некоторые раскинулись на полу, без всего. А пол? Пол был покрыт, более чем в вершок толщиной, слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посредине казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Многие рабочие уже спали. Некоторые лежа разговаривали. Луговский остановился, смотря, куда бы лечь.

– Эй, новенький, поди сюда, здесь слободно! – крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшийся на полу во весь свой гигантский рост. Луговский лег с ним рядом.

Прошло часа три времени, – вся казарма храпела на разные лады.

Не спалось только Луговскому.

Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных, грязных оборванцев, обреченных на медленную смерть и загнанных сюда обстоятельствами.

– Господи, неужели я совсем пропал! – невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу.

– Будет вам, барин, плакать, бог милостив! – раздался тихий шепот сзади него, и чья-то громадная, жесткая, как железо, ручища опустилась на плечо Луговского.

Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет, геркулесовского телосложения, но истомленный, с земляным лицом и потухающими уже глубокими серыми глазами. Громадные усы, стриженная голова и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата.

– Полно вам, барин, не плачьте, – участливо сказал солдатик.

– Так я... что-то грустно... Первый раз в жизни заплакал... – заговорил Луговский, отирая слезы.

– Ну вот, так-то лучше! Чего вы! Вот, бог даст, весна придет, на волю пойдем... Солнышко... работа вольная на Волге будет! Что вам печалиться, вы молодой, ученый, у вас дорога широкая. Мне о вас Размоляев давечи рассказывал. Вот моя уж песенка спета, мне и крышка тут!

– А вы давно здесь живете?

– Шестой год по заводам странствую. Лето зимогорю по пристаням, а на зиму либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе... Работа легкая, часов шесть в сутки, есть вволю, место теплое... ну и манит! Опять на эти заводы всегда народ нужен, потому мужик сюда мало идет, вреды боится; а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо лентяй, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше отпускной солдат работает али чиновник, ежели ему некуда пристроиться... Вот, супротив вас, на нарах долговолосый лежит – чиновник-пропойца, три года и лето и зиму здесь около шляется. «Секлетарем» наши его зовут. Получит жалованье, пропьет, опять живет, да и куда ему идти? На службу не годится, в другую работу – силенки мало, вот и околачивается. А вот рядом с ним, где теперь мальчишка спит, офицер жил, да в больницу отправили, умрет, надо полагать.

– Чем он болен был?

– От свинцу, от работы. Сперва завалы делают, пиши никакой не захочется, потом человек ослабнет, а там положили в больницу, и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем и живу, да водки когда выпью при получке...

– А здоровы вы?

– Какое здоров! Еще бы годик-другой протянуть, так и хорошо бы...

– Семья у вас?

– Какая семья у солдата! Жена была в мужиках-то. В службу отдали, одиннадцать годов отслужил, воротился домой – ни кола, ни двора. Жена все прогуляла без меня, да я и не сержусь на ее. Как же и не гулять, одиннадцать лет не видались, жить ей без поддержки как? Дело бабье, ну и пошла! Бог с ней, я не сержусь!.. И сам не без греха ведь! Пришел, поглядел – куда деваться! Для кого жить?! Детишек не было... Пришел сюда вот да коротаю век... Спервоначалу-то, как и вы, зимой без одежды пришел, думал не надолго, да так, видно, до смерти здесь и затянулся!.. Ничего, привык, больше уж некуда...

– Так и я, пожалуй, также... навек здесь... – искренне вымолвил Луговский и вздрогнул даже при этой мысли. От солдатики не скрылось это движение.

– Не бойтесь, барин, бог поможет, ничего, выпутаемся...

Потом он сразу постарался переменить разговор.

– Ну, барин, вы человек новый, и я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в кубочную, где и я работаю. У нас два сорта рабочих – кубочники и печники. Есть еще литейщики, которые белила льют, так то особа статья. Печники у печки свинец пережигают, а кубочники этот самый свинец в товар перегоняют, и уж из товара литейщики белила льют... Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а потом уж выходят в клейкие, в товар. Где в два месяца выгоняют кубик в товар, где в три. У нас месяца в два с половиной, потому кубочные жаркие. Зеленый кубик для работы самый вредный, а клейкий самый трудный – руки устают, мозоли будут на руках. Вот вы теперь со мной рядом, будете заместо офицера, который, я говорил, в больницу ушел, а кубик остался клейкий...

– Стало быть, трудно будет?

– Ничего, я помогу; а теперь, барин, усните, завтра в пять часов вставать, ложитесь.

– Благодарю вас, благодарю! – со слезами выговорил Луговский и обеими руками крепко пожал руку собеседнику.

– Спи-те-сь, спокойной ночи! – проговорил тот, вставая.

– А ваше имя-отчество?

– Капказский – так меня зовут.
– Нет, вы мне имя-отчество скажите...
– Нет, барин, зовите Капказский, как и все!
– Не хочу я вас так называть, скажите настоящее имя...
– Был у меня на Капказе, в полку, юнкарь, молодец, словно и вы, звал он меня «Григорьич», зовите и вы, если уж вам угодно.
– А вы, Григорьич, кавказец?..
– Да, Тенгинского полка...
– Так и я Тенгинского, юнкером служил в нем.
– Эх, барин мой родной, где нам пришлось свидеться!..
Слезы градом полились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко они обнялись и заплакали...
– Милый мой барин, где нам пришлось встретиться!.. – всхлипывая, говорил кавказец.
– Чего вы там, черти, дьяволы, спать не даете! – послышался чей-то глухой голос из угла...
Кавказский оправился, встал и пошел на свое место.
– До завтра, барин, спите спокойно! – на пути выговорил он.
– Прощай, Григорьич, спасибо, дядька! – отвечал Луговский и навзничь упал на грязный пол.
Измученный бессонными ночами, проведенными на улицах, скоро он заснул, вытянувшись во весь рост. Такой роскоши – вытянуться всем телом, в тепле – он давно не испытывал. Если он и спал раньше, то где-нибудь сидя в углу трактира или грязной харчевни, скорчившись в три погибели...
А уснуть, вытянувшись во весь рост, после долгой бессонницы – блаженство.

III

В соседней с заводом церкви ударили к заутрене. В казарму, где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору, и сильно застучал в деревянную коло-тушку.
– Подымайтесь на работу, ребятишки, подымайсь! – нараспев прикрикивал он.
– Эй, каторга – жисть. Господи, а-а-а!.. – раздался в ответ в углу чей-то сонный голос.
– Во имя отца и сына и святого духа, – забормотали в другом.
– На работу, ребятишки, на работу! – еще усилил голос сторож.
– Чего ты, осовелый черт, дармоед копейкинский, орешь тут, словно на панифиде? – вскочив с полу, зыкнул на него Пашка, прозванный за рост и силу атаманом.
– Встал, так и не буду, и уйду, чего ругаешься, – испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз.
– Паша, а фискал-то тебя боится, науку, значит, еще не забыл, – сказал Пашке один из рабочих подобострастно-заискивающим голосом.
– Вставать в кубочную, живо! – скомандовал Пашка, и вся эта разношерстная ватага, зевая, потягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанное, опухшее, желтое, как шафран, лицо с клочком седых волос вместо бороды.
– Вставайте, братцы, пора, сам плешивый козел из помойной ямы вылезает, – указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали; «козел» отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву.

Понемногу все поднялись поодиночке один за другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, «чтобы в одном месте не мочить», и, подымаясь наверх, утирали лица кто грязной рубашкой, кто полой кафтана...

Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе.

Разбуженный Кавказским, Луговский тоже умылся и вместе с ним отправился на работу.

На дворе была темь, метель так и злилась, крупными сырыми хлопьями залепляя глаза.

Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках.

– Холодно, дядька! – шагая по снегу и стуча зубами от холода, молвил Луговский.

– Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша, – показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, ответил дядька.

Они вошли сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим, жгучим воздухом комнату.

– Ух, жарница! – сказал кавказцу Луговский.

– Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, – ответил тот.

Луговский окинул взглядом помещение; оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста, натянутого на деревянные рамы, и вделанных, одна под другой, в деревянные стойки. На этих рамах сушился «товар». Перед каждым тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках в вышину стола: в ящике лежали белые круглые большие овалы.

– А вот и кубики. Их мы сейчас резать будем! – показал на столы кавказец и подал Луговскому нож особого устройства, напоминающий отчасти плотничный инструмент «скобель», только с длинной ручкой посередине.

– Это нож, им надо резать кубик мелко-намелко, чтоб ковалков не было. Потом кубики изрежем – разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим. А теперь снимайте с себя платье и рубашку, а то жарко будет.

Луговский снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любясь могучим сложением Луговского, улыбнулся:

– Ну, барин, вы настоящий кавказец, вам с вашими руками можно пять кубиков срезать!

Луговский действительно был сложен замечательно: широкие могучие плечи, высокая, сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу.

Он начал резать кубик. Мигом закипело дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезывал первый кубик, Луговский уже закончил второй. Пот лил с него ручьем. Длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки покраснелась, и в ней чувствовалась острая боль – предвестник мозолей.

– Ай да барин, наше дело пойдет! – удивился Кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики.

– Хорошо?

– Лучше не треба! Теперь раскладывайте его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим.

Сделано было и это. На дворе рассвело...

– Теперь вот извольте взять эту тряпицу и завяжите ей себе рот, как я, чтобы пыль при сыпке не попала. Вредно. – Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговский сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать «товар» на столы. В каждой раме было не менее полпуда, всех рамок для кубика было десять. При сыпке белая свинцовая пыль наполнила всю комнату.

Затем кубики были смочены «в препорцию водицей», как выражался Кавказский, и сложены. Работа окончена. Луговский и Кавказский омылись в чанах с водой, стоявших в кубочной, и возвратились в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было девять часов. До

одиннадцати рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В одиннадцать – обед, после обеда до четырех опять лежали, в четыре – в кубочную до шести, а там – ужин и спать...

IV

Так и потекли однообразно день за днем. Прошло два месяца. Кавказский все сильнее кашлял, задыхался, жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело еще более, и еще ярче загорелись впавшие глубже глаза... Кубики резать ему начал помогать Луговский.

Луговский сделался общим любимцем, героем казармы. Только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал.

Было второе марта. Накануне роздали рабочим жалованье, и они, как и всегда, загуляли. После «получки» постоянно не работают два, а то и три дня. Получив жалованье, рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам и питейным, где пропивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Большая же часть уже и не покупает ничего, зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы.

В этот день, вследствие холода, мало пошло народу на базар. Пили уже второй день дома. Дым коромыслом стоял: гармоника, пляска, песни, драка... целый ад... Внизу, в кухне, в шести местах играли в карты – в «три листа с подходцем».

На нарах, совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалованье не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Похудел, осунулся – страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да не пил на этот раз и Луговский, все время сидевший подле больного.

Было пять часов вечера. В верхнюю казарму ввалился, с гармоникой в руках, Пашка с двумя пьяными товарищами – билетными солдатами, старожилками завода. Пашка был трезвее других; он играл на гармонике, приплясывал, и все трое ревели «барыню».

– Будет вам, каторжные, дайте покой! – простонал больной кавказец, но те не унимались.

– Пашка, ори тише, видишь, больной здесь! – возвысил голос Луговский, сразу, по-солдатски, привыкший к новому житью-бытью.

– А ты мне что за указчик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье, так тебя и послушаюсь?!

– Во-первых, не барин я, а такой же рабочий, а во-вторых – перестань горланить, говорю тебе...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.